

Марина Цветаева

Мой Пушкин



*Частъ сборника
Проза (сборник)*



Марина Цветаева

Мой Пушкин

«Public Domain»

1937

Цветаева М. И.

Мой Пушкин / М. И. Цветаева — «Public Domain», 1937

«... В красной комнате был тайный шкаф. Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери — «Дуэль». Снег, черные прутья дерева, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к саням — а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый — Пушкин, отходящий — Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистных деревьев, убил. Первое, что я узнала о Пушкине, это — что его убили. Потом я узнала, что Пушкин — поэт, а Дантес — француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета ...»

Содержание

Марина Цветаева	5
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Марина Цветаева Мой Пушкин

Начинается как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей – «Jane Eyre» – Тайна красной комнаты.

В красной комнате был тайный шкаф.

Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери – «Дуэль».

Снег, черные прутья дерева, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к саням – а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый – Пушкин, отходящий – Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистных деревьев, убил.

Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я трех лет твердо узнала, что у поэта есть живот, и, – вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась, – об этом *животе* поэта, который так часто не-сыт и в который Пушкин был убит, пеклась не меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась *сестра*. Больше скажу – в слове *живот* для меня что-то священное, – даже простое «болит живот» меня заливают волной содрогающегося сочувствия, исключающего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили.

О Гончаровой не упоминалось вовсе, и я о ней узнала только взрослой. Жизнь спустя горячо приветствую такое умолчание матери. Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да, по существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое: любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики: поэт – и чернь. Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила – поэта. А Гончарова, как и Николай I, – всегда найдется.

– Нет, нет, нет, ты только представь себе! – говорила мать, совершенно не представляя себе этого *ты*. – Смертельно раненный, в снегу, а не отказался от выстрела! Прицелился, попал и еще сам себе сказал: браво! – тоном такого восхищения, каким ей, христианке, естественно бы: «Смертельно раненный, в крови, а простил врагу!» Отшвырнул пистолет, протянул руку, – этим, со всеми нами, явно возвращая Пушкина в его родную Африку мести и страсти и не подозревая, какой урок – если не мести, так страсти – на всю жизнь дает четырехлетней, еле грамотной мне.

Черная с белым, без единого цветного пятна, материнская спальня, черное с белым окно: снег и прутья тех деревьев, черная и белая картина «Дуэль», где на белизне снега совершается черное дело: вечное черное дело убийства поэта – черню.

Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта – убили.

С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова – убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали всё мое младенчество, детство, юность, – я поделила мир на поэта – и всех и выбрала – поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать – поэта – от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались.

Три таких картины были в нашем трехпрудном доме: в столовой – «Явление Христа народу», с никогда не разрешенной загадкой совсем маленького и непонятно-близкого, совсем близкого и непонятно-маленького Христа; вторая, над нотной этажеркой в зале – «Татары» – татары в белых балахонах, в каменном доме без окон, между белых столбов убивающие главного татарина («Убийство Цезаря») и – в спальне матери – «Дуэль». Два убийства и одно явление. И все три были страшные, непонятные, угрожающие, и крещение с никогда не виденными черными кудрявыми орлоносими голыми людьми и детьми, так заполнившими реку, что капли

воды не осталось, было не менее страшное тех двух, – и все они отлично готовили ребенка к предназначенному ему страшному веку.

* * *

Пушкин был негр. У Пушкина были бакенбарды (NB! только у негров и у старых генералов), у Пушкина были волосы вверх и губы наружу, и черные, с синими белками, как у щенка, глаза, – черные вопреки явной светлоглазости его многочисленных портретов. (Раз негр – черные¹.)

Пушкин был такой же негр, как тот негр в Александровском пассаже, рядом с белым стоячим медведем, над вечно-сухим фонтаном, куда мы с матерью ходили посмотреть: не забил ли? Фонтаны никогда не бьют (да как это они бы делали?), русский поэт – негр, поэт – негр, и поэта – убили.

(Боже, как сбилось! Какой поэт из бывших и сущих *не* негр, и какого поэта – *не* убили?)

Но и до «Дуэли» Наумова – ибо у каждого воспоминания есть свое *до*-воспоминание, точно пожарная лестница, по которой спускаешься спиной, не зная, будет ли еще ступень – которая *всегда* оказывается – или внезапное ночное небо, на котором открываешь все новые и новые высочайшие и далечайшие звезды, – но до «Дуэли» Наумова был другой Пушкин, Пушкин, – когда я еще не знала, что Пушкин – Пушкин. Пушкин не воспоминание, а состояние, Пушкин – всегда и отовсегда, – до «Дуэли» Наумова была заря, и, из нее вырастая, в нее уходя, ее плечами рассекая, как пловец – реку, – черный человек выше всех и чернее всех – с наклоненной головой и шляпой в руке.

Памятник Пушкина был не памятник Пушкина (родительный падеж), а просто Памятник-Пушкина, в одно слово, с одинаково непонятными и порознь не существующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно, под дождем и под снегом, – о, как я вижу эти нагруженные снегом плечи, всеми российскими снегами нагруженные и усиленные африканские плечи! – плечами в зарю или в метель, прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю, стоит с вечной шляпой в руке, называется «Памятник-Пушкина».

Памятник Пушкина был цель и предел прогулки: от памятника Пушкина – до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега: кто скорей добежит до Памятник-Пушкина. Только Асина нянька иногда, по простоте, сокращала: «А у Пушкина – посидим», – чем неизменно вызывала мою педантическую поправку: «Не у Пушкина, а у Памятник-Пушкина».

Памятник Пушкина был и моя первая пространственная мера: от Никитских Ворот до памятника Пушкина – верста, та самая вечная пушкинская верста, верста «Бесов», верста «Зимней дороги», верста всей пушкинской жизни и наших детских хрестоматий, полосатая и торчащая, непонятная и принятая².

Памятник Пушкина был – обиход, такое же действующее лицо детской жизни, как рояль или за окном городской Игнатьев, – кстати, стоявший почти так же непреложно, только не так высоко, – памятник Пушкина был одна из двух (третьей не было) ежедневных неизбежных прогулок – на Патриаршие Пруды – или к Памятник-Пушкину. И я предпочитала – к Памятник-Пушкину, потому что мне нравилось, раскрывая и даже разрывая на бегу мою белую дедушкину карлсбадскую удавочную «кофточку», к нему бежать и, добежав, обходить, а потом, подняв голову, смотреть на чернолицего и чернорукого великана, на меня не глядящего, ни на кого и ни на что в моей жизни не похожего. А иногда просто на одной ноге обскакивать. А бегала я, несмотря на Андриюшину долговязость и Асину невесомость и собственную толсто-

¹ Пушкин был светловолос и светлоглаз (примеч. М. Цветаевой.)

² Там верстою небывалой Он торчал передо мною... («Бесы») Пушкин здесь говорит о верстовом столбе. Ни огня, ни черной хаты... Глушь и снег... Навстречу мне Только версты полосаты Попадаются одне... («Зимняя дорога») (примеч. М. Цветаевой).

ватость – лучше их, лучше всех: от чистого чувства чести: добежать, а потом уж лопнуть. Мне приятно, что именно памятник Пушкина был первой победой моего бега.

С памятником Пушкина была и отдельная игра, моя игра, а именно: приставлять к его подножию мизинную, с детский мизинец, белую фарфоровую куколку – они продавались в посудных лавках, кто в конце прошлого века в Москве рос – знает, были гномы под грибами, были дети под зонтами, – приставлять к гигантов подножью такую фигурку и, постепенно проходя взглядом снизу вверх весь гранитный отвес, пока голова не отваливалась, рост – сравнивать.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с черным и белым: такой черный! такая белая! – и так как *черный* был явлен гигантом, а *белый* – комической фигуркой, и так как непременно нужно выбрать, я тогда же и навсегда выбрала черного, а не белого, черное, а не белое: черную думу, черную долю, черную жизнь.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с числом: сколько таких фигурок нужно поставить одна на другую, чтобы получился памятник Пушкина. И ответ был уже тот, что и сейчас: «Сколько ни ставь...» – с горделиво-скромным добавлением: «Вот если бы сто *меня*, тогда – *может*, потому что я ведь еще вырасту...» И, одновременно: «А если одна на другую сто фигурок, выйду – я?» И ответ: «Нет, не потому, что я большая, а потому, что я живая, а они фарфоровые».

Так что Памятник-Пушкина был и моей первой встречей с материалом: чугуном, фарфором, гранитом – и своим.

Памятник Пушкина со мной под ним и фигуркой подо мной был и моим первым наглядным уроком иерархии: я перед фигуркой великан, но я перед Пушкиным – я. То есть маленькая девочка. Но которая вырастет. Я для фигурки – то, что Памятник-Пушкина – для меня. Но что же тогда для фигурки – Памятник-Пушкина? И после мучительного думанья – внезапное озарение: а он для нее такой большой, что она его просто не видит. Она думает – дом. Или – гром. А *она* для него – такая уж маленькая, что он ее тоже – просто не видит. Он думает – просто блоха. А меня – видит. Потому что я большая и толстая. И скоро еще подрасту.

Первый урок числа, первый урок масштаба, первый урок материала, первый урок иерархии, первый урок мысли и, главное, наглядное подтверждение всего моего последующего опыта: из тысячи фигурок, даже одна на другую поставленных, не сделаешь Пушкина.

...Потому что мне нравилось от него вниз по песчаной или снежной аллее идти и к нему, по песчаной или снежной аллее, возвращаться, – к его спине с рукой, к его руке за спиной, потому что стоял он всегда спиной, *от* него – спиной и *к нему* – спиной, спиной ко всем и всему, и гуляли мы всегда ему в спину, так же как сам бульвар всеми тремя аллеями шел ему в спину, и прогулка была такая долгая, что каждый раз мы с бульваром забывали, какое у него лицо, и каждый раз лицо было новое, хотя такое же черное. (С грустью думаю, что последние деревья *до* него так и не узнали, какое у него лицо.)

Памятник Пушкина я любила за черноту – обратную белизну наших домашних богов. У тех глаза были совсем белые, а у Памятник-Пушкина – совсем черные, совсем полные. Памятник-Пушкина был совсем черный, как собака, еще черней собаки, потому что у самой черной из них всегда над глазами что-то желтое или под шеей что-то белое. Памятник Пушкина был черный, как рояль. И если бы мне потом совсем не сказали, что Пушкин – негр, я бы знала, что Пушкин – негр.

От памятника Пушкина у меня и моя безумная любовь к черным, пронесенная через всю жизнь, по сей день польщенность всего существа, когда случайно, в вагоне трамвая или ином, окажусь с черным – рядом. Мое белое убожество бок о бок с черным божеством. В каждом негре я люблю Пушкина и узнаю Пушкина, – черный памятник Пушкина моего до-грамотного младенчества и вся Россия.

...Потому что мне нравилось, что уходим мы или приходим, а он – всегда стоит. Под снегом, под летящими листьями, в заре, в синевае, в мутном молоке зимы – всегда стоит.

Наших богов иногда, хоть редко, но переставляли. Наших богов, под Рождество или под Пасху, тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили ветры. Этот – всегда стоял.

Памятник Пушкина был первым моим видением неприкосновенности и непреложности.

– На Патриаршие Пруды или..?

– К Памятник-Пушкину!

На Патриарших Прудах – патриархов не было.

* * *

Чудная мысль – гиганта поставить среди детей. Черного гиганта – среди белых детей. Чудная мысль белых детей на черное родство – обречь.

Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы, а я – так явно предпочитаю – черную. Памятник Пушкина, опережая события, – памятник против расизма, за равенство для всех рас, за первенство каждой – лишь бы давала гения. Памятник Пушкина есть памятник черной крови, влившейся в белую, памятник слияния кровей, как бывает – слиянию рек, живой памятник слияния кровей, смешения народных душ – самых далеких и как будто бы – самых неслиянных. Памятник Пушкина есть живое доказательство низости и мертвости расистской теории, живое доказательство – ее обратного. Пушкин есть *факт*, опрокидывающий теорию. Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения. Но нет – раньше: в день бракосочетания сына арапа Петра Великого, Осипа Абрамовича Ганнибала с Марьей Алексеевной Пушкиной. Но нет, еще раньше: в неизвестный нам день и час, когда Петр впервые остановил на абиссинском мальчике Ибрагиме черный, светлый, веселый и страшный взгляд. Этот взгляд был приказ Пушкину *быть*. Так что дети, под петербургским Фальконетовым Медным Всадником росшие, тоже росли под памятником против расизма – за гения.

Чудная мысль Ибрагимова правнука сделать черным. Отлить его в чугунае, как природа прадеда отлила в черной плоти. Черный Пушкин – символ. Чудная мысль – чернотой изваяния дать Москве лоскут абиссинского неба. Ибо памятник Пушкина явно стоит «под небом Африки моей». Чудная мысль – наклоном головы, выступом ноги, снятой с головы и заведенной за спину шляпой *поклона* – дать Москве, под ногами поэта, море. Ибо Пушкин не над песчаным бульваром стоит, а над Черным морем. Над морем свободной стихии – Пушкин свободной стихии.

Мрачная мысль – гиганта поставить среди цепей. Ибо стоит Пушкин среди цепей, окружен («огражден») его пьедестал камнями и цепями: камень – цепь, камень – цепь, камень – цепь, все вместе – круг. Круг николаевских рук, никогда не обнявших поэта, никогда и не выпустивших. Круг, начавшийся словом: «Ты теперь не прежний Пушкин, ты – *мой* Пушкин» и разомкнувшийся только Дантесовым выстрелом.

На этих цепях я, со всей детской Москвой прошлой, сущей, будущей, качалась – не подзревая, на чем. Это были очень низкие качели, очень твердые, очень железные. – «Ампи́р»? – Ампи́р. – Empire – Николая I Империя.

Но с цепями и с камнями – чудный памятник. Памятник свободе – неволе – стихии – судьбе – и конечной победе гения: Пушкину, восставшему из цепей. Мы это можем сказать теперь, когда человечески-постыдная и поэтически-бездарная подмена Жуковского:

И долго буду тем *народу* я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что *прелестью* живой стихов я был полезен... —

с таким не-пушкинским, антипушкинским введением *пользы* в *поэзию* – подмена, позорившая Жуковского и Николая I без малого век и имеющая их позорить во веки веков, пушкинское же подножье пятнавшая с 1884 года – установки памятника, – наконец заменена словами *пушкинского* «Памятника»:

И долго буду тем *любезен я народу*,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век *восславил я свободу*
И милость к падшим призывал.

И если я до сих пор не назвала скульптора Опекушина, то только потому, что есть слава большая – безымянная. Кто в Москве знал, что Пушкин – Опекушина? Но опекушинского Пушкина никто не забыл никогда. Мнимая неблагодарность наша – ваятелю лучшая благодарность.

И я счастлива, что мне, в одних моих юношеских стихах, удалось еще раз дать его черное детище – в слове:

А там, в полях необозримых
Служа *небесному* царю —
Чугунный правнук Ибрагимов
Зажег зарю.

* * *

А вот как памятник Пушкина однажды пришел к нам в гости. Я играла в нашей холодной белой зале. Играла, значит – либо сидела под роялем, затылком в уровень кадке с филодендроном, либо безмолвно бегала от ларя к зеркалу, лбом в уровень подзеркальнику.

Позвонили, и залой прошел господин. Из гостиной, куда он прошел, сразу вышла мать, и мне, тихо: «Муся! Ты видела этого господина?» – «Да». – «Так это – сын Пушкина. Ты ведь знаешь памятник Пушкина? Так это его сын. Почетный опекун. Не уходи и не шуми, а когда пройдет обратно – гляди. Он очень похож на отца. Ты ведь знаешь его отца?»

Время шло. Господин не выходил. Я сидела и не шумела и глядела. Одна на венском стуле, в холодной зале, не смея встать, потому что вдруг – пройдет.

Прошел он – и именно вдруг – но не один, а с отцом и с матерью, и я не знала, куда глядеть, и глядела на мать, но она, перехватив мой взгляд, гневно отшвырнула его на господина, и я успела увидеть, что у него на груди – звезда.

– Ну, Муся, видела сына Пушкина?

– Видела.

– Ну, какой же он?

– У него на груди – звезда.

– Звезда! Мало ли у кого на груди звезда! У тебя какой-то особенный дар смотреть не туда и не на то...

– Так смотри, Муся, запомни, – продолжал уже отец, – что ты нынче, четырех лет от роду, видела сына Пушкина. Потом внукам своим будешь рассказывать.

Внукам я рассказала сразу. Не своим, а единственному внуку, которого я знала, – няиньному: Ване, работавшему на оловянном заводе и однажды принесшему мне в подарок соб-

ственноручного серебряного голубя. Ваня этот, приходивший по воскресеньям, за чистоту и тихоту, а еще и из уважения к высокому сану няни, был допускаем в детскую, где долго пил чай с баранками, а я от любви к нему и его птичке от него не отходила, ничего не говорила и за него глотала.

«Ваня, а у нас был сын Памятник-Пушкина». – «Что, барышня?» – «У нас был сын Памятник-Пушкина, и папа сказал, чтобы я это тебе сказала». – «Ну, значит, что-нибудь от папаши нужно было, раз пришли...» – неопределенно отозвался Ваня. «Ничего не нужно было, просто с визитом к нашему барину, – вмешалась няня. – Небось сами – полный енерал. Ты Пушкина-то на Тверском знаешь?» – «Знаю». – «Ну, сынок их, значит. Уже в летах, вся борода седая, надвое расчесана. Ваше высокопревосходительство» .

Так, от материнской обмолвки и няниной скороговорки и от родительского приказа смотреть и помнить – связанного у меня только с предметами – белый медведь в пассаже, негр над фонтаном, Минин и Пожарский и т.д. – а никак не с людьми, ибо царь и Иоанн Кронштадтский, которых мне, вознеся меня над толпой, показывали, относились не к людям, а к священным предметам – так это у меня и осталось: к нам в гости приходил сын Памятник-Пушкина. Но скоро и неопределенная принадлежность сына стерлась: сын Памятник-Пушкина превратился в сам Памятник-Пушкина. К нам в гости приходил сам Памятник-Пушкина.

И чем старше я становилась, тем более это во мне, сознанием, укреплялось: сын Пушкина – тем, что был сын Пушкина, был уже памятник. Двойной памятник его славы и его крови. Живой памятник. Так что сейчас, целую жизнь спустя, я спокойно могу сказать, что в наш трехпрудный дом, в конце века, в одно холодное белое утро пришел Памятник-Пушкина.

Так у меня, до Пушкина, до Дон-Жуана, был свой Командор.

Так и у меня был свой Командор.

* * *

А шел, верней, ехал в наш трехпрудный дом сын Пушкина мимо дома Гончаровых, где родилась и росла будущая художница Наталья Сергеевна Гончарова, двоюродная внучка Натальи Николаевны.

Родной сын Пушкина мимо двоюродной внучки Натальи Гончаровой, которая, может быть, на него – не зная, не узнавая, не подозревая, – в ту минуту из окна глядела.

Наши дома с Гончаровой – узнала это только в Париже, в 1928 году – оказались соседними, наш дом был восьмой, своего номера она не помнит.

* * *

Но что же тайна красной комнаты? Ах, весь дом был тайный, весь дом был – тайна!

Запретный шкаф. Запретный плод. Этот плод – том, огромный сине-лиловый том с золотой надписью вкось – Собрание сочинений А.С. Пушкина.

В шкафу у старшей сестры Валерии живет Пушкин, тот самый негр с кудрями и сверкающими белками. Но до белков – другое сверкание: собственных зеленых глаз в зеркале, потому что шкаф – обманчивый, зеркальный, в две створки, в каждой – я, а если удачно поместиться – носом против зеркального водораздела, то получается не то два носа, не то один – неузнаваемый.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.